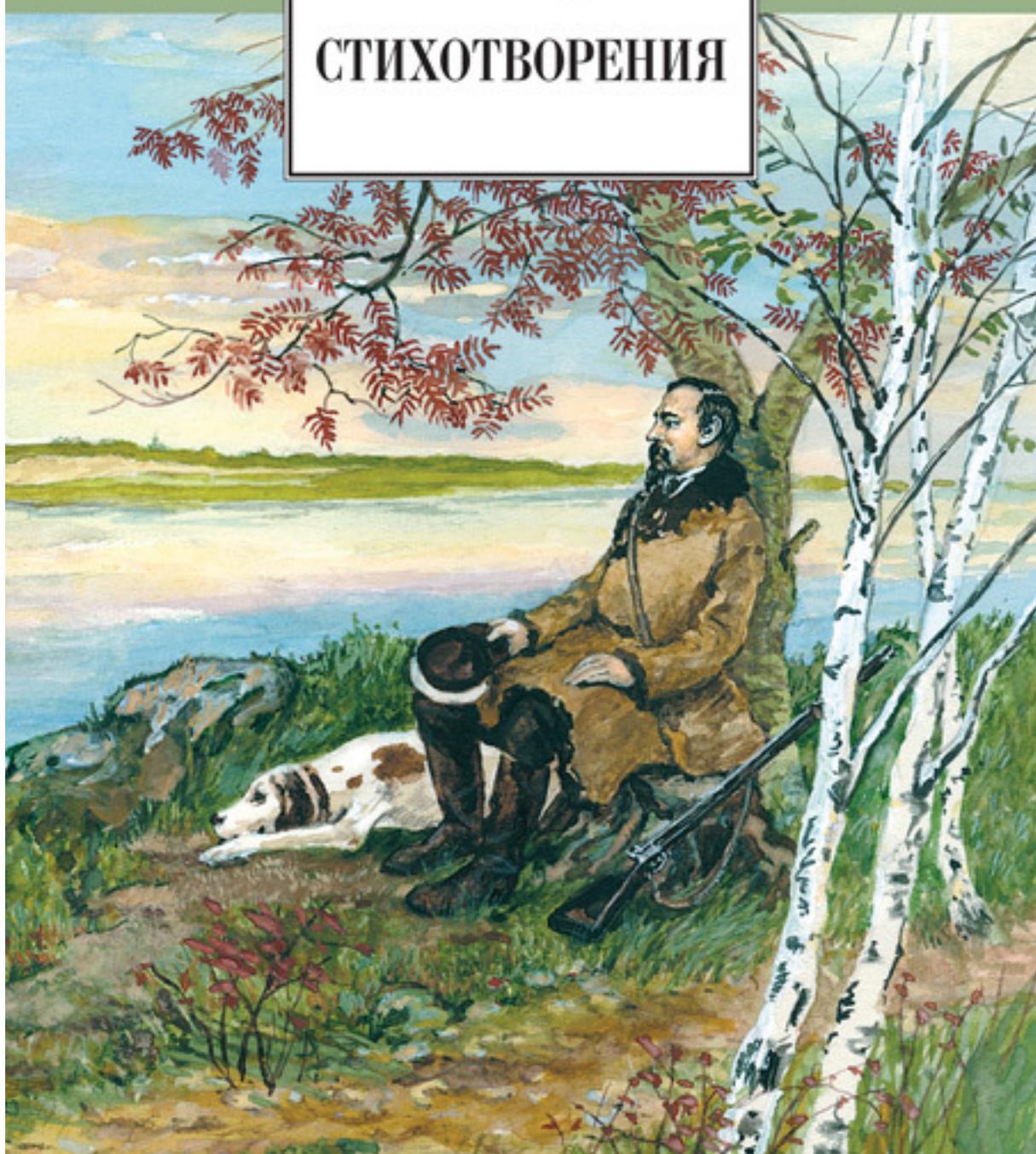


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Н. А. Некрасов
СТИХОТВОРЕНИЯ



Николай Алексеевич Некрасов
Стихотворения
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7381175
Стихотворения [Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. В. Лебедева] : Детская литература; Москва;
2001
ISBN 5-08-003854-3

Аннотация

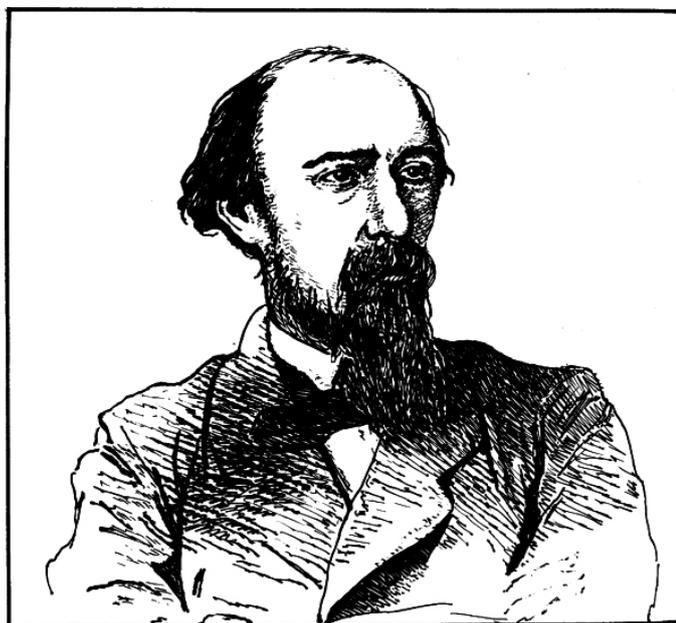
В книгу великого русского поэта, «печальника народного горя» Н. А. Некрасова вошло около ста широко известных стихотворений. Среди них «Поэт и гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и другие.

Содержание

На пути к Н. А. Некрасову	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Николай Алексеевич Некрасов

Стихотворения



Ник. Некрасов

1821 - 1878

На пути к Н. А. Некрасову

1

В стихотворении «О Муза! я у двери гроба!..» умирающий Некрасов писал:

Не русский – взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнотом иссеченную Музу...

«Ты любишь несчастного, русский народ! Страдания нас породнили», – скажет в конце своего подвижнического, крестного пути в Сибирь некрасовская героиня, княгиня Волконская. Среди русских поэтов и писателей Некрасов наиболее глубоко почувствовал и выразил одухотворенную красоту страдания, его очищающую и просветляющую человека высоту.

В скорбный день кончины Некрасова Достоевский, писатель из чуждого вроде бы стана, не мог уже работать, а взял с полки все три тома его поэзии, стал читать и... просидел всю ночь. «В эту ночь, – говорил Достоевский, – я буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов-поэт занимал места в моей жизни... Мне дорого, очень дорого, что он „печальник народного горя“ и что он так много и страстно говорил о горе народном, но еще дороже для меня в нем то, что в великие, мучительные и восторженные моменты своей жизни он, несмотря на все противоположные влияния и даже на собственные убеждения свои, преклонялся перед народной правдой всем существом своим, о чем и засвидетельствовал в лучших своих изданиях... Он болел о страданиях его всей душой, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, но мог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его, и даже часть уверовать в будущее назначение его».

Некрасов – поэт сокровенных основ отечественной духовности. Первые наши святые, князя Борис и Глеб, канонизированы в лике праведников, претерпевших незаслуженные смертные муки от рук их коварного старшего брата Святополка. Страстотерпцы наиболее ярко представляют идеал нашей святости. У Некрасова высшей добродетелью отличается в народе тот, «кто все терпит во имя Христа». Вместе с народом русским Некрасов очень рано понял и глубоко почувствовал, что на этой земле веселие и радость – залетные гости, а скорби и труды – неизменные спутники. Некрасов знал и глубоко ценил тернистые пути, видел в них источник высокой духовности, залог человеческого спасения: «В рабстве спасенное Сердце свободное – Золото, золото, Сердце народное!»

Достоевский тонко почувствовал трепетный нерв, бьющийся в глубине поэтического сердца Некрасова. Радость и красота его поэзии в художественной правде вечных христианских истин: не пострадавший – не спасется, не претерпевший скорбей и печалей – не обретет мира в душе. Любовь к страданию и состраданию, вера в спасительную силу этих божественных даров в душе смертного человека являются идеалом, к вершинам которого устремлены творческие порывы национального поэта. «Прочтите эти страдальческие песни сами, – взывал Достоевский. – И пусть оживет наш любимый, страстный поэт. Страстный к страданию поэт!»

2

Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря по новому стилю) 1821 года на Украине в городке Немиров, где служил его отец, человек трудной, драматической судьбы. В возрасте пяти лет Алексей Сергеевич потерял мать, а в 12 лет лишился и отца, оказавшись круглым сиротой. Тогда-то опекун и определил его в Кострому, в Тамбовский полк, отправлявшийся в прусские пределы. В 15 лет отец Некрасова уже понюхал пороху и получил первый офицерский чин. В 23 года он стал штабс-капитаном, в 26 лет – капитаном, а в 1823 году вышел в отставку «за нездоровьем» с мундиром майора. Суровая жизненная школа наложила свою печать на характер Алексея Сергеевича: это был человек крутого нрава, деспотичный и скуповатый, гордый и самоуверенный.

В 1817 году он женился на Елене Андреевне Закревской, девушке из небогатой дворянской семьи. Отец ее, Андрей Семенович Закревский, был украинцем православного вероисповедания. Он служил секретарем в Брацлавском городском магистрате, а потом – капитан-исправником в Брацлавском уезде. Скопив небольшое состояние, он женился на дочери православного священника и приобрел в собственность местечко Юзвин с шестью приписанными к нему деревнями в Каменец-Подольской губернии. Дочери своей, Елене Андреевне, он дал хорошее образование в частном пансионе благородных девиц в Виннице: она читала и писала по-польски, увлекалась литературой.

По выходе в отставку Алексей Сергеевич с супругой и детьми жили некоторое время в усадьбе Закревских, хотя уже в декабре 1821 года произошел раздел ярославских владений между братьями и сестрами Некрасовыми, по которому отец поэта получил в наследство шесть деревенок с 63 душами крепостных крестьян да сверх того, как человек семейный, «господский дом, состоящий в сельце Грешневе, с принадлежащими к оному всяким строением, с садом и прудом». Отъезд Некрасовых в ярославское имение состоялся лишь осенью 1826 года и был связан, по всей вероятности, с особыми обстоятельствами. До выхода в отставку Алексей Сергеевич был бригадным адъютантом в воинском подразделении 18-й пехотной дивизии, входившей в состав 2-й армии, штаб-квартира которой располагалась в 30 верстах от Немирова, в г. Тульчине. Здесь в 1821–1826 годах размещалась центральная управа Южного общества декабристов, возглавляемая Пестелем.

Хотя отец Некрасова не был посвящен в тайны декабристского заговора, по долгу службы он был знаком с многими заговорщиками. Когда начались аресты и было объявлено следствие, Алексей Сергеевич, опасаясь за себя и судьбу семейства, счел разумным покинуть места своей недавней службы и уехать на жительство в родовую усадьбу Грешнево Ярославской губернии. К этому времени Николаю Некрасову шел пятый год. А в феврале 1827 года по Ярославско-Костромскому тракту, рядом с усадебным домом Некрасовых в Грешневе, провезли в Сибирь декабристов.

В набросках к своей автобиографии Некрасов отмечал: «Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге, называемой Сибиркой, она же и Владимирка; барский дом выходит на самую дорогу, и все, что по ней шло и ехало, было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства». Если не конкретные жизненные впечатления, то, во всяком случае, разговоры взрослых об этих драматических событиях могли остаться в цепкой памяти поэта и сыграть свою роль в его обращении к декабристской теме.

Грешневская дорога явилась для Некрасова первым и едва ли не главным «университетом», широким окном в большой всероссийский мир, началом познания многошумной и беспокойной народной России:

У нас же дорога большая была:
Рабочего звания люди сновали
По ней без числа.
Копатель канав – вологжанин,
Лудильщик, портной, шерстобит,
А то в монастырь горожанин
Под праздник молиться катит.
Под наши густые, старинные вязы
На отдых тянуло усталых людей.
Ребята обступят: начнутся рассказы
Про Киев, про турку, про чудных зверей...

Случалось, тут целые дни пролетали —
Что новый прохожий, то новый рассказ...

Ярославско-Костромской край, колыбель народного поэта, наш национальный драматург А. Н. Островский называл «самой бойкой, самой промышленной местностью Велико-россии»: «С Переяславля начинается Меря, земля, обильная горами и водами, и народ, и рослый, и красивый, и умный, и откровенный, и обязательный, и вольный ум, и душа нараспашку. Это земляки мои возлюбленные, с которыми я, кажется, сойдуся хорошо. Здесь уже не увидишь маленького согнутого мужика или бабу в костюме совы, которая поминутно кланяется и приговаривает: „а батюшка, а батюшка...“... Каждый пригорок, каждая сосна, каждый изгиб речки – очаровательны, каждая мужицкая физиономия значительна (я пошлых не встречал еще), и все это ждет кисти, ждет жизни от творческого духа. Здесь все вопиет о воспроизведении...»

«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? – вопрошал Гоголь и ответ давал тоже замечательный: – Знать, у бойкого народа ты могла только родиться... И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик».

На широкой дороге, проходившей мимо окон усадьбы, еще мальчиком встретил Некрасов совершенно особый тип мужика – «артиста», мудреца и философа, смышленного и бойкого, что «и сказкой потешит и притчу ввернет». С незапамятных времен дальняя дорога вошла в жизнь ярославско-костромского крестьянина. Скудная земля русского Нечерноземья ставила мужика перед трудным вопросом: как прокормить растущую семью? Суровая северная природа заставляла его проявлять особую изобретательность в борьбе за существование. По народной пословице, выходил из него «и швец, и жнец, и на дуде игрец»: труд на земле волей-неволей подкреплялся попутными ремеслами. Издревле крестьяне некрассовского края занимались плотницким ремеслом, определялись каменщиками и штукатурами, овладевали ювелирным искусством, резьбой по дереву, изготовляли сани, колеса и дуги. Уходили они и в бондарный промысел, не чуждо им было и гончарное мастерство. Бродили по дорогам портные, лудильщики, землекопы, шерстобиты, гоняли лошадей лихие ямщики, странствовали по лесам да болотам с утра до вечера зоркие и чуткие охотники, продавали по селам и деревням нехитрый красный товар плутоватые коробейники. Желая с выгодой для семьи употребить свои рабочие руки, устремлялись мужики в города – губернские, Кострому и Ярославль, столичные – Петербург да первопрестольную Москву-матушку, добирались и до Киева, а по Волге – и до самой Астрахани.

Отец поэта, всячески стремясь к помещичьему достатку, поощрял в своих деревнях отхожие промыслы: грешневские мастеровитые мужики живали в городах, а возвращаясь

на Святую в свои деревни, не только исправно платили оброк барину, но и баловали все господское семейство:

Гостинцы добровольные
Крестьяне нам несли.
Из Киева – с вареньями,
Из Астрахани – с рыбою,
А тот, кто подостаточней,
И с шелковой материей...

Детям игрушки, лакомства,
А мне, седому бражнику,
Из Питера вина!

Кстати, и сам «седой бражник», предприимчивый ярославец, сразу же по приезде в Грешнево завел при усадьбе каретную мастерскую, пробовал наладить не только каретный, но и другие промыслы. Он занимался одно время ямской гоньбой. В муромском имении Алешунино Владимирской губернии, которое Алексей Сергеевич после долгой тяжбы отсудил у своей сестры, действовали у него кирпичный и паточный заводики. И даже охотничья страсть, которой отец поэта самозабвенно предавался, не лишена была практического, хозяйственного интереса: шкурки зайцев тут же, в имении, выдывали на продажу, а тушки солили и набивали в бочки – на пропитание семьи и дворни. Заводил Алексей Сергеевич и свой оркестр из крепостных музыкантов, выступавший за «сходную цену» в домах ярославских помещиков. Жизнь мелкопоместного дворянина Некрасова не слишком-то и отличалась от жизни подвластных ему мужиков по своим заботам, интересам и пристрастиям.

Как перелетные птицы, завершив крестьянскую полевую страду, с наступлением первых зимних холодов собирались отходники в дальнюю дорогу. Всю зиму трудились они не покладая рук на чужедальной стороншке: строили дома в Москве и Питере, катали валенки, дубили кожи, водили по многолюдным местам медведей на потеху честному народу. Когда же начинало припекать по-весеннему ласковое солнышко, собирали отходники в котомки свой нехитрый инструмент и с легким сердцем, звеня трудовыми пятакми, отправлялись к светлому празднику Пасхи домой, на родину. Звала к себе земля: в труде хлебороба любой отходник видел все-таки основу, корень своего существования:

Начну по порядку:
Я ехал весной
В Страстную субботу
Пред самой Святой.

Домой поспешая
С тяжелых работ,
С утра мне встречался
Рабочий народ.

Так и сновал этот непоседливый люд без числа все по той же дороге, с которой с детства сроднилась душа поэта. Еще мальчиком встретил здесь Некрасов крестьянина, непохожего на старого, оседлого, патриархального хлебороба, горизонт которого ограничивался деревенской околицей. Отходник далеко побывал, многое повидал. На стороне он не чувствовал

повседневного гнета со стороны помещика или управляющего, дышал полной грудью и на мир смотрел широко открытыми глазами.

Под стать сильным крестьянским характерам оказывалась и природа Ярославско-Костромского края. По низовому тракту, тянувшемуся вдоль Волги, расстились ровные скатерти заливных лугов, на которых вспыхивали круглые зеркала озер – Великого, Ярхобольского, Согоцкого, Шачебольского, Искробольского, сообщавшихся с Волгой небольшими, пересыхавшими летом протоками. Весною же здесь природа творила новое чудо: низовая дорога затоплялась почти на всем протяжении водами выходившей из берегов Волги, и из окон грешневского усадебного дома открывался вид на разлившееся по всей луговой стороне море да на возвышавшийся над этим морем на правом крутом берегу Волги сказочным островом древний Николо-Бабаевский монастырь.

Проезжая мимо Грешнева, Островский помечал в своем юношеском дневнике 1848 года: «От Ярославля поехали по луговой стороне... виды восхитительные: что за села, что за строения, точно как едешь не по России, а по какой-нибудь обетованной земле... Вот, например, Овсянники... эта деревня, составляющая продолжение села Рыбниц, так построена, что можно съездить из Москвы полюбоваться только. Она вместе с селом тянется по берегу Волги версты на три... Из Овсянников выехали в 6-м часу и ехали все берегом Волги, почти подле самой воды, камышами. Виды на ту сторону очаровательные. По Волге взад и вперед беспрестанно идут расшивы то на парусах, то народом. Езда такая, как по Кузнецкому мосту. Кострому видно верст за двадцать». Удивительно, что именно это место близ села Овсянники, на которое проездом обратил внимание Островский, было местом детских и юношеских охот и рыбалок Некрасова. Это о нем писал он в стихотворении «На Волге»:

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще все в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.

Но Некрасову, коренному волжанину, довелось увидеть здесь и другое. Как раз неподалеку от села Овсянники тянулась знаменитая на всю Волгу трехверстная Овсянниковская мель, страшный бич всех волжских бурлаков, с трудом перетаскивавших по ней суда, «разламывая натруженную и наболевшую грудь жесткой ляжкой, налаживая дружные, тяжелые шаги под заунывную бурлацкую песню, которая стонет, не веселит, а печалит»:

Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевою,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный, похоронный крик...

Острый, режущий сердце контраст между вольной ширью, сказочной красотой любимой Волги и непомерной, неподъемной тяжестью человеческого труда на ее берегах стал первой незаживающей раной, нанесенной еще в детстве чуткой, поэтически ранимой душе Некрасова, пробудившей в ней неизбывную боль сострадания:

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

Другую рану он получил в родной семье. В те годы люди жили еще славной памятью о воинских победах в Отечественной войне 1812 года, и в дворянских семьях даже более высокого аристократического полета, чем мелкопоместная, некрасовская, была в моде система спартанского воспитания. Ее «прелести» испытал на себе сын едва ли не самых богатых дворян в Орловской губернии Иван Тургенев. Отец Некрасова, с 12 лет тянувший солдатскую ляжку, военной муштрою воспитанный, бивуачной жизнью взлелеянный, нежить и холить детей не любил:

Не зол, но крут, детей в суровой школе
Держал старик, растил как дикарей!
Мы жили с ним в лесу да в чистом поле,
Травя волков, стреляя в глухарей.

В пятнадцать лет я был вполне воспитан,
Как требовал отцовский идеал:
Рука тверда, глаз верен, дух испытан, —
Но грамоту весьма нетвердо знал...

Сестра поэта, Анна Алексеевна, вспоминала: «10 лет он убил первую утку на Пчельском озере, был октябрь, окраины озера уже заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило. Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил. Приучили его к верховой езде довольно оригинально и не особенно нежно. Он сам рассказывал, что однажды 18 раз упал с лошади. Дело было зимой – мягко. Зато потом всю жизнь он не боялся никакой лошади, смело садился на клячу и на бешеного жеребца».

Отцовские уроки даром не прошли: им обязан Некрасов упорством и выносливостью, не раз выручавшими его в трудных жизненных обстоятельствах. От своего отца унаследовал он также практическое чутье, умение и талант хладнокровно и расчетливо вести денежные дела. От Алексея Сергеевича с детских лет он заразился охотничьей страстью, пуще всех других способствовавшей искреннему и сердечному сближению его с народом. Друзья его деревенского детства остались друзьями на всю жизнь, а встречи с ними во время наездов на родину впоследствии духовно подпитывали и укрепляли:

Приятно встретиться в столице шумной с другом
Зимой,
Но друга увидеть, идущего за плугом
В деревне в летний зной
Стократ приятнее...

В Ярославскую гимназию Некрасова определили в 1832 году. Товарищи полюбили его за открытый и общительный характер и особенно за его занимательные рассказы из своей деревенской жизни. Как вспоминают его соученики, «народным духом проникнут он был еще гимназистом, на школьной скамье». Но учился Некрасов не очень охотно, к числу примерных и прилежных школяров не принадлежал. Почувствовав свободу от тяжелой отцовской опеки, он наслаждался вольной жизнью и полной независимостью, проводя время в загородных прогулках и других увлечениях, частенько пропускал уроки, но много читал и втайне от гимназических друзей-товарищей писал стихи в «заветную тетрадь», подражая в них всем полубившимся ему поэтам. «Надо тебе сказать, – обмолвился однажды Некрасов в разговоре с В. А. Панаевым, – что хотя в гимназии я плохо учился, но страстишка к писанию была у меня сильная...»

Вот эту-то именно «страстишку» ни понять, ни поддержать в своем сыне отставной майор Алексей Сергеевич Некрасов не мог. В автобиографическом романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» Некрасов писал: «Отец мой, ничего не читавший и вовсе не занимавшийся литературой, однажды застал меня за переписыванием стихов. Прочитав несколько строк: „Вздор какой-то – стихи, – заметил он. – Охота тебе заниматься такими пустяками; я думал, что ты теперь по крайней мере выкинешь эту дурь из головы, – лучше бы я советовал тебе взять печатный высочайший титул да переписывать для навыку – будешь служить, понадобится; ошибешься в титуле – как раз вон из кармана рубль или полтина: прошения с ошибкою в высочайшем титуле возвращаются с надписью!“ Переписывать, мне переписывать!.. Я чуть не захохотал невежеству моего отца; но, чтобы не рассердить его, обещал заняться после обеда титулами».

Ярославские знатоки установили, что за этими строками из некрасовского романа скрываются подлинные факты. Отец действительно заставлял гимназиста Некрасова «тренироваться» в написании высочайшего титула: в Ярославском архиве обнаружены недавно деловые бумаги и прошения А. С. Некрасова, писанные рукою его сына Николая. И хотя впоследствии сын служить не стал, отеческая «наука» нашла свое применение: в годы «петербургских мытарств» Некрасову пришлось-таки зарабатывать на хлеб насущный писанием жалоб от лица неграмотных мещан и крестьян-отходников и не допускать ошибок в титуле, так как специальная гербовая бумага, на которых писались прошения, стоила дорого.

Гимназическая «вольница», которой отдавал предпочтение Николай Некрасов, не очень-то и волновала, по-видимому, его отца: титул на деловых бумагах выводит безошибочно, пишет грамотно – вполне достаточно подготовлен для военного поприща. О другом призвании для своего сына отец и не мечтал. Когда сын доучился до шестого класса, Алексей Сергеевич «забыл», что нужно платить деньги за его обучение, и гимназическое начальство вынуждено было востребовать эту плату официальным путем, через губернского дворянского предводителя. Просидев два года в пятом классе, Некрасов на выпускные экзамены в июне 1837 года не явился и в дальнейшем гимназию не посещал. А отец из этого драмы не делал: он тогда временно служил исправником и, как вспоминает сестра поэта А. А. Буткевич, стал «братъ сына Николая в разъезды по делам службы; таким образом, мальчик... присутствовал при различных сценах народной жизни, при следствиях, а иногда и при расправах во вкусе прежнего времени. Все это производило глубокое впечатление на ребенка и рано, в живых картинах, знакомило его с тогдашними слишком тяжелыми условиями народной жизни».

Боль за случившееся, подлинную тревогу за недоросля сына переживала в доме лишь «затворница немая», «русокудрая и голубоокая» мать поэта, отводившая душу рыданиями где-нибудь в укромном месте, чтобы не видели домашние, чтоб не гневался совершенно не понимавший ее тревог отец. Именно она угадала в сыне будущего поэта, оценила его

способности и с глубоким, затаенным отчаянием наблюдала, как с попушения грубоватого отца гасится в нем данный от Бога дар. А отзывчивая душа отрока, в свою очередь, тянулась к ней, чувствовала все острее, все горячее ее одиночество. Ведь еще семилетним мальчиком на именины матушки Некрасов поднес на суд свои первые стихи:

Любезна маменька, примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда-нибудь.

Маменька «сей слабый труд» рассмотрела и втайне от отца стала поощрять сына к его продолжению. Нет никакого сомнения, что «заветная тетрадь» отрока была ей хорошо знакома и на ее вкус высоко оценена.

Так с детских лет в душе Некрасова стал совершаться болезненный надлом – она разрывалась между двумя авторитетами и двумя жизненными правдами: одну – трезвую и приземленно-прозаическую утверждал в нем отец, а другую – высокую и одухотворенно-поэтическую – страдалица мать. Некрасов не мог не чувствовать, как ей трудно и одиноко живется на чужой стороне, в чужом доме с грубоватым отцом. Мальчик видел, как жарко молится она в приходской церкви Благовещения села Абакумцева, как кротко склоняется перед светлым ликом Спасителя. Сколько трепетно-чистых минут пережили они вместе, припадая к старым плитам этого храма, сколько доброго и высокопоучительного слышал мальчик из уст своей праведницы матери, когда поднимались они после церковных служб на высокую Абакумцевскую гору, с которой открывалась живописная панорама на десятки верст кругом:

Рад, что я вижу картину,
Милую с детства глазам.
Глянь-ка на эту равнину —
И полюби ее сам!
Две-три усадьбы дворянских,
Двадцать Господних церквей,
Сто деревенок крестьянских
Как на ладони на ней!

Навсегда запали в душу восприимчивого отрока поездки в Николо-Бабаевский монастырь к всероссийски чтимой святыне – чудотворной иконе святителя Николая, которая, по преданию, явилась здесь на «бабайках» – больших веслах, употребляемых вместо руля при сгонке сплоченного леса по Волге из Шексны и Мологи. Когда лесопромышленники вводили лес из Волги в речку Солоницу, бабайки за ненадобностью складывали в самом ее устье. Говорили, что первый храм в честь Николая Чудотворца построен был из бабаек. Впоследствии в стихотворении «На Волге» Некрасов писал:

Кругом все та же даль и ширь,
Все тот же виден монастырь
На острове, среди песков,
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.

Неспроста образ сельского храма станет одним из ключевых и ведущих в поэзии Некрасова: его первые религиозные чувства, первый трепет их перед ликом Спасителя будут неразрывно связаны с образом молящейся матери – второй, земной заступницы, после Небесной «заступницы мира холодного». И в поэтическом мире Некрасова два этих образа будут чаще и чаще сливаться в один и сольются наконец в последнем, прощальном, пронзительном произведении «Баюшки-баю» (1877).

В ореоле святости сохранился образ Елены Андреевны и в памяти любивших ее грешневских крестьян: «Небольшого росточка, беленькая, слабенькая, добрая барыня». По точным словам ярославца Н. Н. Пайкова, «внучка православного священника, Е. А. Некрасова по самому своему душевному складу была страдальца и страстотерпица, богомольна и христоролюбива, образец скромной заботы и незлобивости, всепрощения и любви к ближнему. Она неустанно следовала заповедям Христовым, превозмогала обиды, непонимание, одиночество, видя себе одно утешение – в слове Божиим и свете нравственного идеала. „Затворница“ – нашел точное слово поэт. Инокня в миру. Оттого и земле предана так, как пристало, пожалуй, только истинно блаженным». Она покоится у алтаря церкви Благовещения села Абакумцева, и одинокий крест на ее могиле в лунные ночи отражается на белой церковной стене.

Не мать ли передала Некрасову в наследство свой талант всепонимания и высокого сострадания? И не потому ли, что чувствовала этот талант уже в душе мальчика, отрока, решалась именно с ним делиться такими болями и обидами, которые кротко сносила в грубой крепостнической повседневности и упорно скрывала от окружающих? В Петербурге, оценив и открыв весной 1845 года талант Достоевского, Некрасов почувствовал в нем родственную во многом душу и делился с ним порой самым сокровенным. После смерти поэта Достоевский так вспоминал об этом в «Дневнике писателя»: «Тогда было между нами несколько мгновений, в которые, раз и навсегда, обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери, – и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которою он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить маяком, путеводной звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то, уж конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, с существом, столь любившим его».

Мать мечтала, что ее сын будет образованным человеком, успешно окончит гимназию, потом – университет. Отец же об этом и слышать не хотел, давно определив его в своих планах в Дворянский полк: там и экзаменов держать не нужно, и примут на полное содержание – никаких убытков. Спорить с отцом было бесполезно, мать об этом знала и замолчала. Что же касается самого Некрасова, то он связывал свои петербургские планы с «заветной тетрадью»:

Я отроком покинул отчий дом
(За славой я в столицу торопился)...

3

20 июля 1838 года шестнадцатилетний Некрасов отправился в Петербург с рекомендательными письмами к влиятельным лицам от ярославских знакомых отца и от самого Алексея Сергеевича с просьбами о зачислении в Дворянский полк. Особых затруднений на этот счет не предвиделось, и быть бы Некрасову кадетом, если бы судьба не распорядилась иначе. Вскоре выяснилось, что в 1838 году набора в Дворянский полк не будет. Однако самонадеянный отрок в Грешнево решил не возвращаться. Свет не без добрых людей. Каким-то образом ему удалось познакомиться с Николаем Федоровичем Фермером, выпускником и преподавателем Военно-инженерного училища, стихотворцем и человеком редкой душевной чистоты и честности. Он находился под влиянием св. Игнатия Брянчанинова и Михаила Чихачева, которые по окончании Инженерного училища избрали для себя духовное поприще. Н. Ф. Фермор, столь же глубоко религиозный, вступил на иную стезю.

Он сочувственно отнесся к романтическим стихам одаренного юноши, в религиозных настроениях которого уже просматривалась гражданская направленность, познакомил Некрасова с издателем «Сына отечества» Н. А. Полевым. И уже два месяца спустя после отъезда из Грешнева торжествующий Некрасов увидел на страницах сентябрьского номера столичного журнала свою первую публикацию. Это было стихотворение «Мысль» с примечанием, которым автор был очень польщен: «Первый опыт юного, шестнадцатилетнего поэта». Вслед за ним в ноябрьском номере журнала появились стихи «Человек» и «Безнадежность», а потом и еще несколько в других изданиях. Для провинциального отрока, едва успевшего появиться в столице, это был успех, способный любому вскружить голову. А неутомимый Фермор уже организовал подписку среди воспитанников Военно-инженерного училища на издание стихов поэта отдельной книгой, привлек к этому благородному делу еще и своего приятеля Г. Ф. Бенецкого, содержателя пансиона при Инженерном училище.

Подписка прошла успешно, и вскоре ярославская «заветная тетрадь», значительно дополненная новыми стихотворениями, пошла в цензуру. Когда поэт получил корректуру своего первого сборника «Мечты и звуки», он решил показать ее признанному авторитету в русской поэзии – В. А. Жуковскому. Очевидно, что-то дрогнуло в его душе, появились сомнения. Петербургские друзья поспособствовали этой встрече. «Вышел благообразный старик, весьма чисто одетый, с наклоненной вперед головой. Отдавая листы, просил его мнения. Сказано – прийти через три дня. Явился. Указано мне два стихотворения из всех, как порядочные, о прочих сказано: „Если хотите печатать, то издавайтесь без имени, впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи“. Не печатать было нельзя, около сотни экземпляров Бенецким было за продано, и деньги я получил вперед». Книжечка вышла, автор скрылся под буквами «Н. Н.». Некрасов получил ее из типографии в феврале 1840 года.

Конечно, «Мечты и звуки» были книгой еще незрелой и во многом подражательной. Некрасов тут перепевает мотивы или подхватывает готовые образы поэзии Пушкина, Жуковского, Бенедиктова, а также второстепенных романтических поэтов той поры. Ученические, но достаточно мастеровитые и с несомненным талантом написанные стихи появились не вовремя и были, так сказать, обречены на неуспех, поджидавший тогда, кстати, всех литературных сверстников Некрасова, начавших свой творческий путь в 1840 году. Это был период торжества аналитической, преимущественно очерковой прозы, которая вплоть до середины 50-х годов почти полностью вытеснила поэзию со страниц литературно-художественных журналов. Одному из ведущих и самых авторитетных критиков В. Г. Белинскому даже показалось тогда, что время поэзии ушло безвозвратно, уступив дорогу прозе. В широких кругах читателей интерес к поэзии тоже падал – и падал стремительно.

Немудрено, что в мартовском номере «Отечественных записок» за 1840 год Некрасов встретил о «Мечтах и звуках» рецензию Белинского, напоминающую смертный приговор: «Прочесть целую книгу стихов, встречать в них всё знакомые и истертые чувствованья, общие места, гладкие стишки, и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души, в куче рифмованных строчек, – воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики... Посредственность в стихах нестерпима».

Вскоре и Некрасов практически убедился в горькой правде этого приговора: «Прихожу в магазин через неделю – ни одного экземпляра не продано, через другую – то же, через два месяца – то же. В огорчении собрал все экземпляры и большую часть уничтожил. Отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах».

Отзыв Белинского больно ударил не только по авторскому самолюбию Некрасова; столь безжалостно изничтоженная книга не оправдала и более прозаических, материальных надежд поэта. Как только отец узнал, что сын не собирается возвращаться в Грешнево и, более того, вознамерился готовиться к поступлению в университет, он отказал ему в какой бы то ни было помощи. Деньги, данные отцом на дорогу и на первые месяцы обустройства в Петербурге, давно кончились, и Некрасов оказался под угрозой голодной смерти. Он ютился уже в подвале доходного дома на Петербургской стороне, ежедневно рискуя потерять и это убогое пристанище.

Когда петербургские «инженеры-бессеребренники» узнали о критическом положении юноши, они нашли ему место гувернера в пансионе Бенецкого. Некрасов обучал здесь с десяток мальчиков, собиравшихся поступать в Инженерное училище, за плату, которой едва хватало на то, чтоб не умереть с голоду. А ведь нужно было еще и самому готовиться в университет. Это решение окончательно созрело у Некрасова после встречи в Петербурге с бывшими сверстниками, ярославскими гимназистами. Об историко-филологическом факультете нельзя было и мечтать: там требовалось, кроме латыни, знание древнегреческого языка и основных европейских. Кто-то из приятелей посоветовал попытать счастья на факультете восточных языков. Некрасов, насколько это было возможно в его отчаянном положении, готовился. Но отсутствие домашнего образования, помноженное на ярославскую гимназическую вольницу, обернулось тем, что на вступительных экзаменах 1839 года Некрасов, получив четыре единицы подряд, прекратил экзаменовку и решил определиться вольнослушателем. Пришлось писать отцу, просить у него свидетельство «о невозможности доставить сыну плату за обучение». Вскоре Алексей Сергеевич такое свидетельство выслал, и Некрасов стал посещать лекции в университете, одновременно готовясь к поступлению на следующий год. 24 июля 1840 года он подал документы на юридическое отделение, однако на экзаменах его ждала новая неудача...

«О мудрые! Если б вы знали, сколько пожертвований, слез и тревог, сколько душевных борений и самопожертвований желудка стоил мне небольшой запас сведений, которые со страхом и трепетом принес я на суд ваш в памятный для меня день моего испытания! Если б вы знали, что у меня не было иного наставника, кроме толкучего рынка, на котором я покупал старые учебные книги... Если б вы знали... Впрочем, все это я некоторым из вас говорил».

Строки из автобиографического романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» – наглядное свидетельство обиды, за которой скрывается осознание социальной несправедливости и сквозь которую пробивается чувство уязвленной гордости разночинца, плебея, социального изгоя. В Петербурге Некрасов впервые испытал мучительный и губительный для слабых натур комплекс неполноценности. С завистью смотрел он на счастливых сынков богатых аристократов, которые блистали знанием европейских языков, приобщенностью к

высотам мировой культуры. Рядом с ними «худородный» ярославец чувствовал себя человеком бедным, обойденным благами жизни, достойным жалости, за которой так часто скрывается снисходительность и презрение. С каждым днем, с каждой неудачей, с каждым провалом терялось доверие к людям, возникала потребность гордого уединения, поселялся в душе тот «демон», о котором писал знающий дело, прошедший в Петербурге через такие же искусы, тонкий психолог Достоевский:

«Это был демон гордости, жажды обеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, что этот демон присосался еще к сердцу ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в согласие с этой чуждой толпой не желала. Не то чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они не так страшны, как об них говорят (наверно, думалось ему), но они все все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет до их интереса. Вот тогда-то и начались, может быть, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: „В кармане моем миллион“. Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним».

Достоевский не ошибался.

Вот один из автобиографических рассказов Некрасова в передаче А. С. Суворина: «Я дал себе слово не умереть на чердаке. „Нет, – думал я, – будет и тех, которые погибли прежде меня, – я пробьюсь во что бы то ни стало. Лучше по Владимирке пойти, чем околевать беспомощным, забитым и забытым всеми“. И днем и ночью эта мысль меня преследовала... Я мучился той внутренней борьбой, которая во мне происходила: душа говорила одно, а жизнь совсем другое. И идеализма было у меня пропасть, того идеализма, который вразрез шел с жизнью. И я стал убивать его в себе и стараться развить в себе практическую сметку».

Годы «петербургских мытарств» не только не сгладили, но как бы еще более усугубили трагический душевный надлом, мучительное сердечное раздвоение, первые симптомы которого возникли в грешневские годы под перекрестным влиянием матери и отца. Некрасова потом часто упрекали в неискренности: «печальник горя народного» на словах на деле оказался журналистом-предпринимателем, вел роскошный образ жизни, был подвержен слабостям и привычкам, свойственным богатому барину. Конечно, демон Некрасова был низким демоном. «Такого ли самообеспечения могла жаждать душа Некрасова, – продолжал Достоевский, – эта душа, способная так отзываться на все святое и не покидавшая веры в него? Разве таким самообеспечением ограждают себя столь одаренные души? Такие люди пускаются в путь босы и с пустыми руками, и на сердце их ясно и светло. Самообеспечение их не в золоте... Золото может казаться самообеспечением именно той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал». Потому-то и заплатил Некрасов за эту свою слабость «страданием всей жизни своей». Потому-то и любовь Некрасова к народу, по Достоевскому, была исходом его собственной скорби по себе самом. В этой любви он возвышался над своими слабостями, получал освобождение и исцеление от них. «Замечу, кстати, – заключал Достоевский, – что для практического и столь умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем».

И вот юноша Некрасов собрал в комок всю свою энергию, волю, силу и предприимчивость, чтобы выбиться из того жалкого положения, в котором он оказался. Он действительно наступил на горло собственной песне и перестал писать лирические стихи, а стал писать «эгоистически», для денег, не пренебрегая порою даже откровенной халтурой, которую он изготовлял по заказу лубочного книгоиздателя Полякова («Баба Яга, Костяная нога», «Сказка о царевне Ясносвете» и др.). Через Бенецкого Некрасов познакомился с Федором Алексеевичем Кони, редактором «Пантеона русского и всех европейских театров» и «Литературной газеты», который привлек работоспособного юношу к сотрудничеству в этих изданиях. Не без его поддержки и понуждения Некрасов пробует силы в театральной критике, в написании критических обзоров и рецензий, но обретает популярность как автор стихотворных фельетонов («Говорун», «Чиновник») и водевилей («Актер», «Петербургский ростовщик»). В этих произведениях Некрасов ищет и подчас находит демократического читателя и зрителя. Волей-неволей изоощряется и оттачивается умение писать «на публику», тонко чувствовать спрос, издательскую конъюнктуру. Все эти качества окажутся потом востребованы Некрасовым – редактором одного из самых популярных и читаемых журналов. Увлечение драматургией не проходит бесследно и для его поэтического творчества: драматический элемент пронизывает некрасовскую лирику, отражается в поэмах «Русские женщины», «Современники», «Кому на Руси жить хорошо». «Петербургские мытарства» обогатят Некрасова знанием жизни и людей, их сильных сторон и в особенности их слабостей, которые будущий редактор «Современника» научится прощать. П. В. Анненков скажет о Некрасове: «Он обладал такой широтой разума, что понимал истинные основы чужих мыслей и мнений, хотя бы и не разделял их». Наконец, в эти трудные годы поэт научится работать – самоотверженно и самозабвенно, с полной отдачей сил.

«Господи! Сколько я работал! Уму непостижимо, сколько я работал, – скажет об этом периоде своей жизни Некрасов. – Полагаю, не преувеличу, если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот – трехсот печатных листов журнальной работы, принялся за нее почти с первых дней прибытия в Петербург».

4

В ходе этого духовного возмужания судьба свела Некрасова с человеком, которого до конца дней он считал своим учителем, пред кем «смирненно преклонял колени». Поэт познакомился с Белинским в декабре 1842 года, а сдружился с ним в 1843 году, хотя отношения между ними «равными» никогда не были. «Белинский, – вспоминал Некрасов, – видел во мне богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого держались его беседы со мной... имевшие для меня значение поучения». А впоследствии Некрасов так рассказывал об этой дружбе: «Ясно припоминаю, как мы с ним вдвоем, часов до двух ночи, беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях... заняться образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду! Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением!»

Как это ни парадоксально может показаться, но Белинский, «упорствуя, волнуясь и спеша», возвращал Некрасова на ту стезю идеализма, с которой он сошел после разгрома книги «Мечты и звуки». В этот период критик переживал страстное увлечение идеалами «нового христианства» – французского утопического социализма, которые не только не противоречили, но и органично вращались в накопленный Некрасовым жизненный опыт, в широком и гуманном свете осмысливая его. Утопические социалисты, впадая, конечно, в религи-

озную ересь, пытались воплотить на практике одну из главных христианских заповедей – «вера без дела мертва есть» и придать евангельским заветам Иисуса Христа активный, действенный смысл. Общение с Белинским как бы всколыхнуло в Некрасове «детски чистое чувство веры», принятое им от матери, обогатило его энергией активного христианского сострадания.

Достоевский вспоминал, что «зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». Социализм выдавали за «новое откровение», продолжение этического учения Христа. И хотя в знаменитом письме к Гоголю Белинский называл современную ему Церковь «опорою кнута и угодницею деспотизма», Христа он считал предтечей социализма: «Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». Даже искушенный в христианских догматах Чернышевский, первый ученик Саратовской духовной семинарии, выросший в благочестивой семье, записал в своем дневнике: «Дочитал нынче утром Фурье. Теперь вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений».

А. С. Суворин справедливо считал, что «огромный ум Некрасова, воспитанный прямо и почти только на одной жизни, противился теоретическим представлениям, расплывавшимся в широковещательные речи, в самосозерцание, в благоговение перед „прекраснодушным“, и становился во вражду с теорией тем резче, чем больше в самом себе он находил того же идеализма». В поучениях Белинского его привлекала не столько теория, сколько «неистовая» устремленность к деятельному добру: «Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей». Белинский, а вслед за ним Чернышевский и Добролюбов оказались близкими Некрасову людьми не столько своими революционными теоретическими построениями, которых он с ними не разделял, сколько жертвенно-духовным складом их ума и характера.

Впоследствии поэт заплатил дань любви и благодарности своему учителю в стихотворении «Памяти приятеля», в поэме «В. Г. Белинский», в «Сценах из лирической комедии „Медвежья охота“:

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Именно теперь Некрасов выходит в поэзии на новую дорогу, создавая первые глубоко реалистические стихи с демократической тематикой. Восторженную оценку Белинского, как известно, вызвало стихотворение „В дороге“ (1845). Прослушав его, Белинский не выдержал и воскликнул: „Да знаете ли вы, что вы – поэт, и поэт истинный!“

В этот период религиозные настроения Некрасова, открыто декларированные в романтическом сборнике „Мечты и звуки“, уйдут в глубокий подтекст. Он создает ряд произведений, в которых, предвосхищая Достоевского, изнутри проникает в драму жизни обитателей „петербургских углов“, „маленьких людей“ – мелких чиновников, нищих, мастеровых, падших женщин, страдающих детей. В „Говоруне“, стихотворном монологе, написанном от лица чиновника Белопяткина, предвосхищается открытие автора „Бедных людей“, намечается новый подход к освещению темы, в чем-то полемический по отношению к гоголевской „Шинели“. У Некрасова уже в стихах 1843 года этот человек обретает свой собственный голос, спешит выговориться, познать самого себя. В отличие от бессловесного Акакия Башмачкина, герой Некрасова – говорун. „Говоруном“ окажется и герой „Бедных людей“ Достоевского Макар Алексеевич Девушкин.

Некрасову уже ведомы все изломы и терзания, вся амбициозность униженной и страдающей души. В стихотворении „Пьяница“ его герой падает на жизненное дно отнюдь не из бедности самой по себе. Пьянством он заглушает острое чувство уязвленной гордости, „томительное борение“ души и тоску незаурядного, не востребованного миром ума. Бедняка соблазняет слава, мучает неудовлетворенное чувство собственного достоинства, перерастающее в греховную гордыню. Трезвому бедная хата его кажется „еще бедней“, а „мать, старуха бледная, Еще бледней, бледней“. Ему стыдно быть бедным, он ходит „как обесславленный, Гнушаясь сам собой“. По существу, ведь это будущий Девушкин из „Бедных людей“ или чиновник Голядкин из „Двойника“ Достоевского. За внешней стусеванностью и забитостью Некрасов прозревает в героя „гордость непомерную“, „тайную злобу“ на людей. Стыдясь себя, своей бедности, он все время сравнивает свою долю с чужой, воспринимая мир обидчивым, завистливым взглядом. Он и живет уже не собой, а предполагаемым чужим мнением о себе: „На скудный твой наряд С насмешкой неслучайною Все, кажется, глядят“. В психологии этого социального изгоя Некрасов обнаруживает преступные порывы, ибо для человека гордого и униженного – „Все – повод к искушению, Все дразнит и язвит, И руку к преступлению Нетвердую манит“. И причиной такого преступления может стать, как потом у Раскольникова, не голод, а зависть, неутоленная, ненасытимая гордость.

О бесспорном влиянии Некрасова на Достоевского убедительно свидетельствует факт, на который обратил внимание известный исследователь Некрасова М. М. Гин. В „Дневнике писателя“ за 1876 год Достоевский цитирует по памяти стихотворение Некрасова „Детство“, написанное в 1844 году, но нигде при жизни Некрасова и Достоевского не публиковавшееся. Его обнаружил в черновиках поэта К. И. Чуковский и впервые опубликовал в 1948 году. Очевидно, молодой Некрасов в пору дружеских отношений с Достоевским читал ему эти стихи, глубоко запавшие в душу писателя, вечной болью которого были страдания безвинных детей.

Отец мой приговаривал:
 „Ты скот – не человек!“
 И так меня прожаривал,
 Что не забыть вовек!
 От матери украдкою
 Меня к себе сажал
 И в рот мне водку гадкую
 По капле наливал:
 „Ну,правляйся смолоду,
 Дурашка, подрастешь —
 Не околеешь с голоду,
 Рубашку не пропьешь“, —
 Так говорил – и бешено
 С друзьями хохотал,
 Когда я, как помешанный,
 И падал, и кричал...

Предвосхищает Некрасов и „мармеладовскую“ тему Достоевского в стихах „Когда из мрака заблужденья...“, „Еду ли ночью по улице темной...“, „На улице“. И хотя в „Записках из подполья“ у Достоевского есть ирония над наивной верой лирического героя Некрасова в „прекрасное и высокое“, эта ирония, даже полемика, не отменяет сочувственного отношения писателя к благородным порывам человека, стремящегося „выпрямить“ и спасти „падшую душу“. „Спаситель“ в стихах Некрасова хорошо знает психологию „падшей души“,

ее затаенные комплексы. Сам поднявшись над болезненным состоянием унижаемого человека, он старается избавиться от него и героиню. Он знает, что ей нужно жить самой собой, а не чужим мнением о себе, приводящим героиню к тайным сомнениям, гнетущим мыслям, болезненно-пугливому состоянию души.

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

По сути, перед нами женский вариант драмы „маленького человека“, униженной и обиженной, а потому и болезненно-гордой души, напоминающей будущую Настасью Филипповну из „Идиота“ Достоевского, тоже пригревшей „змею в груди“. А лирический герой Некрасова своим активным и пронзительным состраданием разве не напоминает будущего князя Мышкина?

5

Белинский высоко оценил в Некрасове не только поэтический талант, но и ярославскую деловитость и предприимчивость. По воспоминаниям И. И. Панаева, „Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни и которому Белинский всегда мучительно завидовал“.

Одновременно с поэтическим творчеством Некрасов становится организатором литературного дела. Чуткий редактор и умелый издатель, он собирает и публикует в середине 1840-х годов две книги – „Физиология Петербурга“ и „Петербургский сборник“. В них печатают очерки, рассказы и повести, стихи и поэмы друзья Белинского и Некрасова, писатели новой реалистической школы, с легкой руки Булгарина получившей название „натуральная“. Среди них – В. И. Даль, Д. В. Григорович, И. И. Панаев, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский. А с 1847 года в руки Некрасова и его друзей переходит журнал „Современник“, основанный А. С. Пушкиным, потускневший после его смерти и заново возрожденный.

С „Современником“ долгие годы будет связан весь цвет русской литературы. При участии и одобрении Некрасова Тургенев опубликует здесь „Записки охотника“, романы „Рудин“ и „Дворянское гнездо“. В незнакомом, начинающем литераторе, приславшем в 1852 году в редакцию „Современника“ свою повесть „Детство“, зоркий глаз Некрасова распознает великий талант Льва Толстого. Сподвижниками Некрасова будут выдающиеся мыслители, люди исключительной нравственной чуткости и трудолюбия Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Некрасов-редактор будет первооткрывателем молодых писательских дарований И. А. Гончарова, Г. И. Успенского, В. А. Слепцова, Н. Г. Помяловского. При этом Некрасов обретет дар соединять друг с другом людей, подчас несовместимых по общественной позиции и „партийной“ ориентации.

Когда после закрытия журнала „Современник“ в 1866 году Некрасов задумал оставить поприще издателя, И. А. Гончаров обратился к нему с таким увещанием: „У Вас есть талант отыскивать и приманивать таланты. Вы щедры и знаток дела“.

По точным словам современного исследователя Н. Н. Скатова, Некрасову-издателю удалось в своей практике соединить, казалось бы, несоединимое – денежное дело, каким являлось издание журнала, с высоким общественным служением. При этом нередко случа-

лось идти на компромиссы с цензурой или охлаждать неумеренные материальные претензии как маститых, так и начинающих литераторов, нужно было постоянно наращивать прибыль, чтобы поддерживать журнал и сотрудников его в трудных обстоятельствах. Здесь была ко двору и предпринимательская изворотливость, и чуткий слух не только на талант писателя, но и на запросы современного читателя. Однажды Некрасов написал по этому поводу, обращаясь к своему брату М. Е. Салтыкову-Щедрину, следующие строки:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь – журнальный путь...

На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей.

Труд редактора и издателя, требовавший от поэта сделок с совестью (вспомним, например, печально знаменитую муравьевскую оду, прочитанную в Английском клубе при отчаянной уже попытке спасти закрываемый правительством „Современник“), часто вызывал у Некрасова приступы хандры, разочарования, рождал в его лирике покаянные стихи.

Но вот что писал по этому поводу А. С. Суворин: „Фырканы своей независимостью, то есть проявление ее резкими чертами, быть может, имеет свою цену; во всяком случае, для этого требуется некоторая смелость, но *постоянное* отстаивание своей независимости, искание ее – с уступками, конечно, но искание ее во что бы то ни стало – в течение целой жизни, со стороны такого умного человека, каким был Некрасов, бесспорно принесло ему и всей литературе огромную пользу... Скажу больше: не стремись Некрасов к независимости, не вырабатывай он у себя практической сметки, не умеи он пользоваться приобретенным состоянием и большими знакомствами, судьба журналистики русской, столь часто зависевшая от случая, могла быть иною, а журналистика очень много обязана Некрасову. Для нее тоже нужен был „практический человек“, но не того предпринимательского закала, который тогда царствовал нераздельно. Нужен был талантливый человек, понимающий ее задачи, широко на них смотревший, строящий успех журнала не на эксплуатации сотрудников, а на идеях и талантах“.

После смерти Белинского в 1848 году Некрасов подключается к работе в литературно-критическом разделе журнала. Его перу принадлежит ряд блестящих критических статей, среди которых особо выделяется очерк „Русские второстепенные поэты“ (1850), восстанавливающий пошатнувшуюся в 40-е годы репутацию поэзии, возвращающий русским читателям Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. В годы „мрачного семилетия“ (1848–1855), спасая „Современник“ от опустошительных набегов цензуры, он заполняет запрещенные журнальные страницы специально для этих целей создающимся романом „Три страны света“, а потом – „Мертвое озеро“.

Спустя полтора года после закрытия „Современника“, в 1868 году, Некрасов арендует у А. А. Краевского журнал „Отечественные записки“, бессменным редактором которого остается до самой смерти. В редакцию обновленного журнала он приглашает Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева. В отделе беллетристики печатает А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, С. В. Максимова, Г. И. Успенского, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. Отделом критики руководят А. М. Скабичевский и Н. К. Михайловский. Этот журнал разделяет в 70-е годы

славу запрещенного „Современника“ и стоит в самом центре литературной и общественной жизни этого десятилетия.

Деятельность Некрасова-редактора принадлежит к числу ярких страниц в истории русской журналистики. Н. К. Михайловский писал: „Тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди бесчисленных подводных и надводных скал. Некрасов вел его, провозя на нем груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы, и светлых мыслей, ставших общим достоянием и частью вошедших в самую жизнь. В этом состоит его незабвенная заслуга, цена которой, быть может, даже превосходит цену его собственной поэзии“.

6

Годы „мрачного семилетия“, отмеченные гонениями на живую общественную мысль, изгнанием в Вятку Салтыкова-Щедрина, расправой над кружком Петрашевского и ссылкой в Сибирь на каторжные работы Достоевского, внезапно оборвались в самой середине 50-х годов. 18 февраля 1855 года скоропостижно скончался Николай I, уступив престол своему либерально настроенному сыну, воспитаннику В. А. Жуковского и К. И. Арсеньева Александру II. Вслед за этими событиями, 30 августа 1855 года, пал выдержавший многомесячную осаду и героическую оборону Севастополь. Поражение России в Крымской войне больно ударило по национальному самолюбию патриотически настроенной русской общественности, дало мощный толчок к пробуждению национального самосознания и самоанализа. В стране начался общественный подъем. В этих условиях Некрасов решается на издание сборника своих стихотворений, который выходит в свет в 1856 году.

Некрасов, который находился тогда в Италии на лечении, получил от Чернышевского такое сообщение: „Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли „Ревизор“ и „Мертвые души“ имели такой успех, как Ваша книга“. Вскоре и Тургенев из Парижа сказал по поводу книги Некрасова знаменательные слова: „А Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, – жгутся“.

Сборник открывается своеобразным вступлением – эстетической декларацией „Поэт и гражданин“, в которой отражаются драматические раздумья Некрасова о соотношении высокой гражданственности с полнокровным поэтическим искусством. Эта проблема не случайно заострилась на заре 60-х годов, в предчувствии грядущего общественного подъема. Стихи представляют собой диалог поэта и гражданина. Новое время требует возрождения утраченного в обществе идеала высокой гражданственности, основанного на бескорыстной, духовной, „всеобнимающей“ любви к родине:

Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!

Это же время требует и возрождения высокой поэзии, олицетворением которой в стихах Некрасова является Пушкин.

Но нельзя не заметить, что диалог поэта и гражданина пронизан горьким предчувствием ухода в прошлое той эпохи в истории отечественной культуры, которая была отмечена всеобъемлющим, гармоническим гением Пушкина, достигшим высшего синтеза, органического единства гражданственности и искусства. Солнце пушкинской поэзии закатилось, и пока нет никакой надежды на его восход:

Нет, ты не Пушкин, но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Так говорит гражданин, требующий от поэта в новую эпоху более суровой и аскетичной гражданственности, уже исключаяющей „красу небес“ и „ласку милой“, уже существенно ограничивающей полноту поэтического диапазона.

В стихотворении Некрасова отразились глубокие размышления поэта о драматизме развития русского поэтического искусства в эпоху 60-х годов. Образ поэта сполна воплощает в себе этот драматизм. Перед нами герой, находящийся на распутье и как бы олицетворяющий разные тенденции в развитии русской поэзии тех лет, чувствующий назревающую дисгармонию между „гражданской поэзией“ и „чистым искусством“.

Вслед за „Поэтом и гражданином“ в сборнике идут четыре раздела из тематически однородных и художественно тяготеющих друг к другу стихов: в первом – стихи о народе, во втором – сатира на его недругов, в третьем – поэма „Саша“, в четвертом – интимная лирика, „поэзия сердца“ – стихи о дружбе и любви. Внутри каждого раздела стихи идут в обдуманной последовательности и эстетической взаимозависимости и взаимосвязи.

Весь первый раздел, например, превращается в эскиз своеобразной поэмы о народе и его грядущих судьбах. Открывается эта поэма стихотворением „В дороге“, а завершается „Школьником“. Стихи перекликаются друг с другом. Их объединяет образ проселочной дороги, унылой и невеселой, они начинаются с обращения лирического героя к народу: в первом стихотворении – к ямщику, в последнем – к крестьянскому мальчику, идущему в школу.

Мы сочувствуем недоверию ямщика к господам, действительно погубившим несчастную Грушу. Мы проникаемся суровой правдой переживаемой им жизненной драмы. Но мы с горечью замечаем, что недоверие ямщика к господам переносится и на свет знания, просвещения – мужик и в нем видит „господскую“ причуду, „погубившую“ его жену:

На какой-то патрет все глядит
Да читает какую-то книжку...
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижет...

Так начинается первый раздел. А вот как он заканчивается: вновь тянется дорога – „небо, ельник и песок“, дорога невеселая и неприветливая. Но вскоре настроение поэта решительно изменяется, так как в народном сознании он замечает благотворный переворот:

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Тянется дорога, и на наших глазах изменяется, светлеет крестьянская Русь, устремляясь к знанию. Пронизывающий эти и многие другие стихи раздела образ дороги приобретает

у Некрасова не только бытовой, но и художественный, метафорический смысл: он усиливает ощущение перемены в духовном мире крестьянина.

Некрасов-поэт очень чуток к тем изменениям, которые совершаются в народной среде. В его стихах крестьянская жизнь изображается по-новому, не как у предшественников и современников. На избранный Некрасовым „дорожный“ сюжет существовало уже много стихов, в которых мчались удалые тройки, звенели колокольчики под дугой, звучали удалые ямщицкие песни. В начале стихотворения „В дороге“ Некрасов как бы напоминает читателю об этой литературной традиции:

Скучно! Скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку...

Но сразу же, круто, решительно обрывается обычный и привычный в русской поэзии ход. Что поражает нас в этом стихотворении? Конечно же речь ямщика, начисто лишенная привычных народно-песенных интонаций. Кажется, будто голая проза бесцеремонно ворвалась в стихи: говор ямщика груб, насыщен диалектизмами. Какие же новые возможности открывает перед Некрасовым-поэтом такой необычный, „приземленный“ подход к изображению народа?

Заметим: в народных песнях и в берущей от них начало „дорожной“ поэзии предшественников Некрасова речь, как правило, идет об „удалом ямщике“, о „добром молодце“ или „красной девице“. Все, что с ними случается, приложимо ко многим людям из народной среды. Песня воспроизводит события и характеры общенационального значения и звучания. Некрасова же интересует другое: как народные радости или невзгоды проявляются в судьбе именно этого, единственного героя. Его привлекает в первую очередь личность крестьянина. Общее в крестьянской жизни поэт высвечивает через индивидуальное, неповторимое. Позднее в одном из стихотворений поэт радостно приветствует деревенских друзей:

Все-то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель.

Так ведь и случается в его поэзии: что ни мужик, то неповторимая личность, единственный в своем роде характер, особая индивидуальная судьба. В разговоре с П. Григорьевым Некрасов так это сформулировал. „Да, – заговорил он, – я увеличил материал, обрабатывавшийся поэзией, личностями крестьян... Лермонтов, кажется, вышел бы на настоящую дорогу, то есть на мой путь, и, вероятно, с гораздо большим талантом, чем я, но умер рано... Передо мной никогда не изображенными стояли миллионы живых существ! Они просили любящего взгляда! И что ни человек, то мученик, что ни жизнь, то трагедия!“

В первом разделе поэтического сборника 1856 года определились не только пути движения и роста народного самосознания, но и формы изображения народной жизни. Стихотворение „В дороге“ – это как бы начальный их этап: здесь лирическое „я“ Некрасова еще в значительной степени отстранено от сознания ямщика. Голос человека из народа представлен самому себе, голос автора – тоже. Но по мере того как в народной жизни открывается поэту высокое нравственное содержание – истина, добро и красота, – преодолевается лирическая разобщенность, торжествует поэтическое „многоголосье“. Прислушаемся, как звучат те же голоса в стихотворении „Школьник“, завершающем раздел:

– Ну, пошел же, ради Бога!

Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
Эй! садись ко мне, дружок!

Чьи мы слышим слова? Русского дворянина, едущего по невеселому нашему проселку, или ямщика-крестьянина, понукающего усталых лошадей? По-видимому, и того и другого, два эти „голоса“ слились в один:

Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Так мог бы сказать об отце школьника его деревенский сосед. Но говорит-то здесь Некрасов: народные интонации, сам речевой склад народного языка принял он в свою душу.

В речи о Пушкине Достоевский говорил о „всемирной отзывчивости“ русского национального поэта, умевшего чувствовать чужое как свое, проникаться духом иных национальных культур. Некрасов многое от Пушкина унаследовал. Муза его удивительно прислушлива к народному миропониманию, к разным, подчас очень далеким от поэта характерам людей. Это качество некрасовского таланта проявилось не только в лирике, но и в поэмах из народной жизни, а в некрасоведении получило название „поэтического многоголосья“. Именно благодаря этой отзывчивости Некрасову удалось схватить в емком поэтическом обобщении всю глубину и многосложность народного характера, всю амплитуду его колебаний, весь его широкий размах. На почве крестьянской жизни Некрасов совершил художественное открытие, которое на материале жизни и судьбы своих интеллектуальных героев осуществил Достоевский. Таков, например, ревниво любимый Достоевским некрасовский „Влас“, глубокое общенациональное содержание которого блестяще раскрыл недавно современный знаток поэзии Некрасова Н. Н. Скатов:

„Кажется, всем складом своей психики и — соответственно — своими стихами Некрасов в концентрированном виде выразил одну примечательную особенность общенациональной психики, как она сказала, в частности, и в русской буржуазности, точнее, в отступлениях от нее, как она рассыпалась и проявилась в разных, часто далеких по месту и времени ее типах.

В пьесе Островского богатый купец, ругатель и хам — Дикой рассказывает, как он изругал бедного мужичонку: „Так изругал, что лучше требовать нельзя! Чуть не прибил. Вот оно какое сердце у меня“. А после? „После прощения просил, в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе в грязи ему и кланялся, при всех ему кланялся“.

Нечто подобное через много лет, когда русский капитал развернется во всей красе, Некрасов опишет в „Современниках“: грабитель и вор, пьяный Зацепин посреди пира истерически разрыдается:

Я — вор, я — рыцарь шайки той
Из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Под видом честных спекуляций!

Действительно, нелегко представить из „шайки всех племен, наречий наций“ другого ее „рыцаря“, кроме русского, который публично возопит: „Я вор!“ Зацепин-то кончит новым,

учетверенным грабежом. Но недаром так много русских купцов из размеренного режима накопления выламывались не в грабеж, а в другую сторону: „тронувшийся“ Фома Гордеев (в литературе) или Савва Морозов (в жизни), дававший деньги на революцию и наконец пустивший в лоб „коническую пулю“.

Сама буржуазность в русской жизни под спудом постоянно несла в себе два полярных начала и готовность отдаться любому из них в самом крайнем своем проявлении.

Некрасов чутко ощущал оба эти состояния и всю амплитуду размаха выразил в ставшем символическим образе Власа, который

Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кашеём-мужиком;
Нрава был крутого, строгого...
Наконец и грянул гром!

Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И собирать на построение
Храма Божьего пошел...

Как раз вот с этого времени и от этого стихотворения круто и глубоко в творчество Некрасова входит религиозность.

С этого стихотворения, собственно, и начинается то преклонение поэта перед народной правдой, которое ценил в нем Достоевский: „В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил все свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой“. Можно сказать, что Некрасов любил народ в той мере, в какой ощущал в нем присутствие высших христианских начал, о которых напоминал поэту гражданин в стихах, открывающих поэтический сборник 1856 года:

Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер Бог в душе людей...

На этой нравственной основе как раз и зарождается и утверждается в лирике Некрасова „поэтическое многоголосье“, в котором, по определению Н. Н. Скатова, заключена „некая идеальная модель общения: каждый по себе, но и все вместе“. „Все вместе“ там, где всех объединяет „Бог в душе людей“, где оживают духовные ценности, являющие существо народной правды – „истину народную и истину в народе“. Присутствие или замутненность в героях Некрасова этой высшей правды определяет границы, формы и масштабы „слияния с народом“, „поэтического многоголосья“. Оно торжествует там, где в народе открывается Бог, где дышит православно-христианская духовность. Так случается, например, в более позднем стихотворении Некрасова „Орина, мать солдатская“(1863):

Не любил, сударь, рассказывать
Он про жизнь свою военную,
Грех мирянам-то показывать
Душу – Богу обреченную!

Немота перед кончиною
Подобает христианину.

Знает Бог, какие тягости
Сокрушили силу Ванину!

Святоотеческая мудрость – „молчание есть тайна будущего века, а слово – орудие этого мира“ – открывается в самом характере русского крестьянина. Содержание стихотворения далеко не сводится к обличению николаевской солдатчины. Не случайно и о тяготах ее говорится так сдержанно и так мало: доминирующий мотив произведения – красота православно-верующей души, проявляющаяся наиболее ярко и значительно в минуты скорби, в ситуации смертного испытания. Православный человек умирает удивительно, ибо в роковой час, на пограничье жизни и смерти, он думает не о себе, не о своих болях и печалях, а всей душой отдается заботе о родных и близких, оставляемых им на этой земле:

Никого не осуждаючи,
Он одни слова утешные
Говорил мне умираючи.

Потому-то и голос автора органически „присваивает себе“ голос героини. В ответ на слова Орины —

И погас он, словно свеченька
Восковая, предыконная, —

слышится родственное Орине, но авторское по принадлежности разрешение:

Мало слов, а горя реченька.
Горя реченька бездонная!..

„В последнем-то двустрочии, – замечает Н. Н. Скатов, – вроде бы даже графически отделенном, автор и героиня прямо слились вместе – в один голос допели и доплакали“.

Но иногда, как в стихотворении „Школьник“ например, налицо не полное слияние, а лишь авторское соприкосновение с „голосами“ изображаемых героев. А порой бывает и авторская отстраненность, когда голос героя звучит в форме так называемой „ролевой лирики“ – „В дороге“, „В деревне“ и др.

Во втором разделе поэтического сборника Некрасов выступает как самобытный сатирический поэт. В чем заключается его своеобразие? У предшественников Некрасова сатира была по преимуществу карающей. Пушкин видел в ней „витийства грозный дар“. Сатирический поэт уподоблялся античному Зевсу-громовержцу. Он высоко поднимался над сатирическим героем и метал в него молнии испепеляющих, бичующих слов. Послушаем начало сатиры поэта-декабриста К. Ф. Рылеева „К временщику“:

Надменный временщик, и подлый, и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный...

А у Некрасова все иначе, все наоборот! В „Современной оде“ он старается, напротив, как можно ближе подойти к обличаемому герою, проникнуться его взглядами на жизнь, подстроиться к его самооценке и прикинуться сочувствующим:

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,

И беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

Здесь тоже торжествует по-своему талант некрасовской „всечеловечности“, способность понять другого человека, как себя самого, и достичь в поэтической сатире высот сатирического „многоголосья“.

Порою поэт прибегает и к другой форме сатирического обличения, напоминающей „ролевою лирику“. В стихах „Нравственный человек“ герой сам о себе и сам про себя говорит. Авторский голос отсутствует. А мы тем не менее и смеемся и негодуем. Почему? Да потому, что Некрасов „приближается“ к своим героям с издевкой: намеренно заостряет враждебный ему образ мыслей и чувств. Вот его герои как бы и не нуждаются в обличении извне: сами себя они достаточно глубоко разоблачают. При этом мы проникаем вместе с поэтом во внутренний мир сатирических персонажей, явными оказываются самые потаенные уголки их мелких, подленьких душ.

Именно так обличает Некрасов впоследствии знатного вельможу в „Размышлениях у парадного подъезда“. Почти буквально воспроизводит он взгляд вельможи на счастье народное и пренебрежение к заступникам народа:

...Щелкоперов забавою
Ты народное счастье зовешь;
Без него проживешь ты со славою
И со славой умрешь!

Все повествование о вельможе выдержано в тоне иронического восхваления, подобного тому, какое использует поэт в „Современной оде“. В „Железной дороге“, напротив, мы услышим монолог генерала, и этого окажется достаточно, чтобы заклеить генеральское отношение к народу и его труду. Некрасовская сатира, по сравнению с поэтической сатирой его предшественников, последовательно овладевает углубленным психологическим анализом, проникает в душу обличаемых героев.

Нередко использует Некрасов и так называемый сатирический перепев, который нельзя смешивать с литературной пародией. В „Колыбельной песне (Подражание Лермонтову)“ воспроизводится ритмико-интонационный строй лермонтовской „Казачьей колыбельной“, частично заимствуется и ее высокая поэтическая лексика, но не во имя пародирования, а для того, чтобы на фоне воскрешенной в сознании читателя высокой стихии материнских чувств резко оттенялась измененность тех отношений, о которых идет речь у Некрасова. Пародийное использование („перепев“) является здесь средством усиления сатирического эффекта.

Оригинальным поэтом выступил Некрасов и в заключительном разделе сборника, по новому он стал писать и о любви. Предшественники поэта предпочитали изображать это чувство в прекрасных мгновениях, Некрасов, поэтизируя взлеты любви, не обошел вниманием и ту „прозу“, которая „в любви неизбежна“ („Мы с тобой бестолковые люди...“). В его стихах рядом с любящим героем появился образ независимой героини, подчас своенравной и неуступчивой („Я не люблю иронии твоей...“). А потому и отношения между любящими стали в лирике Некрасова более сложными и напряженными: духовная близость сменяется размолвкой и ссорой, герои часто не понимают друг друга, и это непонимание омрачает их любовь. Иногда личные драмы являются продолжением и завершением драм социальных. Так, в стихотворении „Еду ли ночью по улице темной...“ во многом предвосхищаются конфликты, характерные для романа Достоевского „Преступление и наказание“, для мармеладовской темы в нем.

Таким образом, успех поэтического сборника 1856 года не был случайным: Некрасов заявил в нем себя самобытным поэтом, прокладывая новые пути в литературе.

7

После 1856 года в поэтическом творчестве Некрасова намечается довольно заметный поворот. Внимание поэта все более и более привлекает народная жизнь, многообразие и единство которой уже не вмещается в рамки отдельных лирических стихотворений. Возникает потребность в создании больших эпических полотен. Важной вехой на этом пути является лирическая поэма „Тишина“, в центре которой целостный образ русского народа, представленный в ореоле подвижнической, христианской святости – „тернового венца“. Это народ, выдержавший на своих плечах крестную ношу героической обороны Севастополя, принявший страдание, но не побежденный духовно.

В поэме укрепляется вера Некрасова в народные силы, в русского мужика, крестьянина и солдата как героя национальной истории. Но обратим внимание, что, в отличие от Чернышевского и Добролюбова, Некрасов видит силу народа не в разрушительном революционном бунтарстве, а в духовно-созидательном христианском подвижничестве. Здесь-то как раз и обнаруживается та доминирующая черта народолюбивой поэзии Некрасова, которая отделяла русского национального поэта от его друзей по журналу „Современник“, от вождей революционной демократии, и сближала его творчество с магистральной линией развития русской классической литературы от позднего Пушкина к духовным исканиям Достоевского.

Пушкин говорил, что „греческое вероисповедание, отличное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер“, что история России „требует другой мысли, другой формулы“. В поэме „Тишина“ Некрасов эту формулу находит. Произведение открывается и завершается мотивом сердечного приобщения поэта к общенародной святине, к тому духовному ядру, на котором держится русский национальный характер в тысячелетней отечественной истории.

Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул...

В „Тихине“ укрепляется вера поэта в народные силы, в способность русского мужика в экстремальных ситуациях быть героем национальной истории. Но когда проснется народ к борьбе за свои интересы? На этот вопрос в „Тихине“ нет определенного ответа, как нет его и в „Размышлениях у парадного подъезда“, и в „Песне Еремушке“. Тут скрывается существенное отличие народного поэта Некрасова от его друзей Чернышевского и Добролюбова, которые в этот момент были большими оптимистами относительно возможного народного возмущения. Некрасов же все более решительно менял направление художественного поиска от разрушительных и бунтарских к созидательным началам русского народного характера. Потому-то народная жизнь и отвечает у него на шум столиц святым безмолвием („В столицах шум...“).

В первое пореформенное лето 1861 года Некрасов написал стихотворение „Крестьянские дети“, в котором воспел суровую прозу и высокую поэзию крестьянского детства, призывал хранить в чистоте вечные нравственные ценности, связанные с трудом на земле, – то самое христианское „вековое наследство“, которое Некрасов считал истоком русского национального характера.

Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно.
Храните свое вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой —
И пусть обаянье поэзии детства
Проводит вас в недра землицы родной!..

Любовь к „скудному полю“ требует прежде всего духовного, детски бескорыстного к нему отношения, связанного с вековым христианским наследством. Эта любовь неподвластна полностью земным, материальным мотивам, она выше всего конечного и преходящего. Потому Некрасов и подчеркивает здесь тему вечности, призывая „вечно любить“ „вечно милое, скудное поле“.

Русский народ высоко ценил аскетическое монастырское служение. Но рядом с ним, в жизни мирян, он утверждал служение иное – трудничество. Лишь тем откроются в будущей жизни небесные блага, кто здесь, на земле, проводит время не в праздности, а в праведных трудах. Отсюда – особая трудовая этика русского крестьянина: труд им воспринимается как дело священное, в котором важно не только достижение материальных благ, но и духовно-нравственное начало.

Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь,
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь!

Потому и песнь строителей в „Железной дороге“ Некрасова не сводится к обличению эксплуататоров. Пафос ее еще и в другом: на пережитые страдания труженики-страсто-терпцы указывают не с тем, чтобы разжалобить нас. Страдания только укрепляют в их сознании величие трудового подвижничества. Умереть „со славою“ для православных мирян значило – умереть в праведном труде, „Божьими ратниками“. Строителям железной дороги „любо“ видеть свой труд, а „привычку к труду благородную“ высокорослого, больного белоруса поэт рекомендует перенять и господскому мальчику Ване.

Трудничество – характерная примета всех народных героев Некрасова. В основе стихотворения „Дума“, например, житейский сюжет: мужик, порвавший связь с землей, становится батраком и идет наниматься к хозяину: „Эй! возьми меня в работники!“ Логика сюжета подсказывает, что сейчас произойдет денежная сделка, трудовой договор: мужик будет добиваться работы полегче, а платы побольше. Но ничего подобного не происходит. Истосковавшийся труженик, у которого „поработать руки чешутся“, мечтает о другом:

Повели ты в лето жаркое
Мне пахать пески сыпучие,
Повели ты в зиму лютую
Вырубать леса дремучие, —

Только треск стоял бы до неба,
Как деревья бы валилися;
Вместо шапки белым инеем
Волоса бы серебрилися!

Оказывается, что батрака соблазняет не столько жирная похлебка у хозяина, сколько труд сам по себе, причем именно труд тяжелый, напоминающий богатырское деяние. Тема трудового богатырства, развивающая мотивы былин о Микуле Селяниновиче и Святогоре, становится одной из ведущих в творчестве Некрасова. Поэт знает, что крестьянский труд в суровом северном краю на скудном поле России в лучшем случае дает мужику то, о чем он просит в молитве Господней, – „хлеб насущный“, то есть ровно столько, сколько нужно для скромного достатка и поддержания жизни. Сама природа приглушает в русском человеке материальные стимулы труда, но зато сполна мобилизует другие, духовные его мотивы. Без высшей духовной санкции крестьянский труд в России теряет свою красоту и поэтический смысл. Именно так, безлюбовно и бескрыло, смотрят на мужика в „Сценах из лирической комедии „Медвежья охота“ люди, далекие от православной духовности, – князь Воехотский и барон фон дер Гребен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.